

В последние десятилетия в русской прозе возобладало стремление представлять картину мира практически всегда с отчетливым социальным оттенком. Это вполне понятно: страна находится в настоящий момент на каком-то странном рубеже, за которым, сколько ни вглядывайся, угадываются лишь неопределенные сумерки. Это взгляд художника, а не политолога, он связан с бытийным ощущением происходящего, но слова и суждения писателя все равно полны горечи и социальных примет, мысль о жизни и ее смысле преобладает над изображением живых событий. Так было у Достоевского: остро и точно сформулированная, оснащенная образами мысль о жизни отодвигает собственно живописание, изображение происходящего — то изображение, в котором исподволь накапливается взаимное сопереживание художника и читателя, а еще, как ни парадоксально — сопереживание окружающего мира.

Возможно, такая отсылка к мирозданию, космосу, природе покажется общим местом, однако нельзя отрицать, что, думая о внешнем, мы тем самым его изменяем сообразно движению нашего ума. И вот эта внешняя «первичная» среда — не городская, а природная, тот окончательно, в который был вписан изначально человек, — мало-помалу уходит из русской литературы, уступая место пейзажам городским, искусственной механике, за-

составляющей мегаполис существовать в условных рамках иной, «вторичной» жизни. Тогда как первая, истинная жизнь отступает от границ цивилизации, уходит в себя. Но однажды, словно бы стряхнув вынужденный сон, проявится как-то по-новому, поразив самоуверенного современного человека, напугав его и отодвинув на подобающее ему место.

Вот почему поистине драгоценны произведения «со-природные», рисующие мир в пусты и ослабленном, но гибком единстве, — страницы, на которых изображение как будто слегка отодвигает мысль, поглощает ее и передает читателю постепенно, словно обозначая, кто тут главный, и напоминая старые слова: не мысль о жизни, но сама жизнь! Это художественный центр прозы Толстого. И, устав от нескончаемых доктрин и концепций, стилевых воплощений, даже и от самого ума, нынешний человек обращается к интуиции, вслушивается в голос сердца, пропускает неточности и ошибки... Но художественные прозрения встречает пронзительной благодарностью души, измученной изобилием слов и своееволием интеллекта.

Две повести Михаила Тарковского, изданные фондом «Возрождение Тобольска» под одной обложкой («Не в своей шкуре», «Что скажет солнышко?»)¹ замечательно вписываются в подобное осмысление текущего литературного процесса. В других произведениях прежних лет способность описать мир у Тарковского виделась отчасти досадным свойством, замедляющим течение событий и развертывание сюжета. И, наверное, это действительно было так, потому что осмысление русского мира в координатах социума, его жесткого быта требует определенной динамики и не терпит застороженного хода времени.

Первая повесть новой книги, кажется, в самом начале задает социальные координаты сюжета, обозначает характеры главных героев — пятерых братьев, каждый из которых занят своим делом: корабельным, промысловым, крестьянским, монастырским... Только самый младший брат не похож на старших: он — делец, который в любом начинании видит исключительно барыш.

«Помимо верности вере братовьев объединяет страсть к любимому делу. А Федору Бог не дал кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работящий мужик, но ничего ему не интересно, кроме денег: будет соболь в цене — на тайгу все силы бросит; рыба подлетит — в рыбалку уйдет; скажут извоз в цене — груз возить будет, а сварочные работы — в сварщики подастся. И главное, какое ни будь дело, а видно разницу меж Федором и тем, для кого дело — единственное».

Характер Федора, душевые движения, его последующий отказ от рационального взгляда на мир и осознание всеединства природы — вот пружина содержания этой вещи, если говорить стерильными аналитическими словами. А реально повесть «Не в своей шкуре» наполнена волшебством. Герой во сне переселяется в шкуру соболя и в таком виде начинает участвовать в действительно происходящем. И в зверином своем обличье оказывается частью природного пространства, в котором у всякого существа или места есть собственные интересы и повадка, однако язык общения — у всех один. Так было и у людей до вавилонского столпотворения. Звери, птицы, тайга и река сохранили древнюю основу жизни, она сближает их и как бы создает единое, многоголикое и многоголосое существо. Библейских знаков в повести нет, и это избавляет автора от почти неминуемого интеллигентского резонерства. Зато в изобилии просторечие, устные прозрачные фонемы, житейская рассудительность. Узнаваемые социальные приметы «выглядывают» из разговора персонажей, и автору уже нет нужды специально совмещать события с чертежом общественного уклада.

Федор стал соболем, но его человеческая память и сама психология остались человечими. Однако почти незаметно он вливается в общую таежную жизнь, а его склон-

¹ М.А. Тарковский. Не в своей шкуре. Повести. — Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска». Тобольск, 2019.

ность к «выгоде физической» растворяется в обязательствах перед лесным зверем, которое его выручает и уводит от верной гибели. Рождается «выгода душевная», в словах и предметах обозначаемая плохо, а вот душа, сердце чувствуют ее, понимают как единственно правильную.

Из тайги Федор-соболь стремится в поселок, от братьев-охотников — в домашнее убежище. Но чуть не получает пулю от сына, увидевшего пушного зверька на сосне около самого дома. И вот тут возникает таинственная связь между отцом-соболем и сыном-охотником, которые напряженно смотрят друг на друга сквозь прицел ружья... Прерывается волшебство — и Федор обретает человечий облик, просыпаясь в таежной избе. Потом оказывается, что все его соболиные уловки присутствуют в плотной реальности, как следы невероятно умного и находчивого зверя, о котором говорят старшие братья и соседи. А сам Федор становится другим: в нем расправляется прежде плотно свернутая душа, и появляется какое-то глубокое дыхание, которое прежде было немыслимо.

Убегая от места охоты и промысла, Федор-соболь уговаривает Глухаря перенести его на спине подальше от опасного места и ближе к дому. Большая птица, ударами крыльев поднимающаяся над тайгой, а потом парящая над деревьями и рекой, становится олицетворением духа природы, переходящего от одного лесного существа к другому. Сюжет замыкает описание уже одинокого полета Глухаря над горной тайгой, интонация становится почти эпической, и кажется, что морозный воздух втягивает читателя в необъятное природное пространство.

«И на каждом взмахе с нижней, оборотной стороны птичьего тела огромные и тугое грудные мышцы сокращались могуче и трепетно, как два слаженных сердца. Прикрепленные к тонкому килю грудины, они длились в крылья, и через них ощущали упругую стать неба, и не понимали, где закачиваются пальчако растопыренные маховые перья и где начинается даль, которая так же пальчако входила в окончания крыльев, образуя с ними сквозистый замок. Так и летел над горной восточносибирской тайгой Глухарь, и так хорошо был союз каленого воздуха и древней праведной птицы, что крыла ее, казалось, набирали смысла с каждым взмахом и оставляли оттиски в небе и в вечности».

Само построение повести отличается удивительной точностью и мерой. Многие вещи только обозначены и оставлены на своем месте, но иные получают развитие, которое может оказаться потом в оговорке персонажа или авторском замечании. Многословие сменяется скромной на слова речью, бытовое уступает место вдумчивости, а низкая разговорность словно невзначай меняет словарь и незаметно поднимает тон повествования.

Язык повести на редкость изобилен. Невероятное количество подробностей делают пространство плотным и многоцветным. Все свойства реального предмета, умножаясь и меняясь, поселяются в каждой детали картины, которую выписывает автор. Его зрение отличается остротой и обширностью, а ум — поразительной для современного человека сдержанностью. Писательское «Я» не вторгается в сюжет, не проваливается в назидательность, но только рисует, живописует и порой обращается к обычному, к мудрости, которая помогает жить, потому что проверена веками. Все современное как будто накинуто тонкой сетью на древнее и традиционное, и не нужно гадать, что весомей — толща веков или пыль цивилизации.

Вторая повесть продолжает стилистику истории о человеке-соболе. Охотник Старший впервые берет в осеннюю тайгу семимесячных щенков Серого и Рыжика. Главная роль в собачьей связке отводится взрослому, опытному Тагану — кобелю восточносибирской лайки. Все происходящее видится глазами Серого. Он быстро взрослеет и в finale становится опорой хозяина. Пытливый взгляд, верность и просыпающийся внутренний закон зряко отличают его от брата-щенка Рыжика. В этих собачьих натурах пунктиром обозначены вполне человеческие характеры. Притом собственно

человечья речь скупа на слова и минимально окрашена эмоционально, а вот разговоры псов постоянны и многотемны.

Рыжик сует свой нос во всякую газету и книгу, и это почти интеллигентское любопытство не доводит его до добра: он начинает находить самые разные оправдания своему воровству привады из хозяйственных капканов, и однажды капкан непривычной конструкции хватает его. Три дня Рыжик томился в этом плену с раздробленной лапой, а потом Старшой нашел его и застрелил: неверная, изуродованная собака стала обузой, а ее явная склонность к предательству не допускала жалости. Между тем, когда отважный Таган получит смертельный удар копытом сохатого, Старшой горько заплачет над умирающим другом. Такая разница в отношении охотника к вороватому щенку и к бесстрашному псу, верному помощнику и товарищу, примечательна для суровой и опасной таежной жизни.

Охотничий участок Старшого смыкается с территорией его городского брата — угодья эти достались им от отца. Брат Валентин хочет свой участок продать, и тогда из охотничьего центра поселок превратится в туристическую пустынку. Право первого выкупа — у Старшого, но где взять деньги? Взрослеющий Серый решает помочь хозяину. Но кто поддержит собаку в ее заботах о человеке?

И пес обращается к подтаявшей Тундрочке, а она зовет к Серому толстого Бурундука, который в тайге «по хозяйственной части». Затем появляется «огромный черно-сизый Глухарь», и его перо, пущенное по ветру, приводит собаку к Соболю. Подают свой голос Енисейский Угор и сам Батюшка Енисей. Каждый помощник обещает Серому исполнить свою часть главной задачи, чтобы промысел соболя был богатым. Наконец, к собаке обращается Солнце, которое может все и везде. И оказывается, что Серый, оробев сразу обратиться к ослепительному светилу, поступил верно: он шел от одного к другому по старшинству, чувствуя себя лишь скромной собакой, которая не хочет ничего лишнего — только доброй руки хозяина на голове, радости охоты, тепла таежной избушки и в достатке еды. Собачьи верность и незлопамятность — лучшие свойства, которые ценит и тайга.

А Солнце ставит последнее условие перед выполнением всего обещанного: Старшому нужно сказать «несколько единственных слов» — «он должен помолиться о вашей Собачьей доле». И вот эта Собачья доля, неотделимая от еще одного качества — способности бескорыстно служить, становится образной параллелью событиям всех коллизий этой истории.

Человек у Михаила Тарковского показан скучными красками, а звериное царство выглядит на страницах повести многоцветным и чрезвычайно разнообразным. Все искренние порывы и природные черты характера у обитателей тайги отличаются замечательной чистотой и отсутствием лукавства. В какой-то степени звери оказываются зеркалом, в котором отражается мир людских страстей. Соединение в одном сюжете столь разных способов существования у Тарковского получилось на редкость органичным. Можно сказать, что перед нами возникают состояния души: райского человека — и позднего, павшего, для которого мир превратился в противоречивый клубок конфликтов, неискренности и эгоизма. Однако эти оттиски мысли и чувства, приверженность тому или иному стереотипу жестко не закреплены и могут меняться с течением времени. Брат Серого, непутевой пес Рыжик, психологически напоминает современного либерала — болтливого, хаотично начитанного, способного найти тысячу оправданий своим нечистым поступкам. Постепенно он превращается из пса-неумехи в вороватого нахлебника и, в конце концов, гибнет. Серый внимательно взглядается в шумящую вокруг него жизнь и пытается брать пример со старшего — Тагана, понимая, что молодая собака еще ничего не знает о тайге, об охоте, о службе и послушании хозяину. Этому необходимо учиться, и в финале Серый внезапно понимает, что настал его час, и перед ним уже нет заступничества взрослых. Более того, он сам превращается в ходатая человека, обращаясь к столпам естественного мира, в

котором память о райском всеединстве сохранилась куда лучше, чем у современного отпрыска первых людей.

Наивной душе позволено говорить многие вещи, которые искушенный ум всерьез принять уже не в состоянии. Наряду с изображением земли и неба, зверя и тайги писатель вполголоса передает мысли, которые вполне могли бы преобразить современное общество. Этот ключ к сюжетам Михаила Тарковского очень важен, но он требует чрезвычайно точного исполнения самых разных вспомогательных художественных задач: нигде не должна прозвучать фальшивая интонация, предметы и свойства в изображенном пространстве должны быть исключительно достоверны. Автор хорошо понимает, насколько обязательна подобная поверка всех деталей повести и ее психологической подкладки, и нигде не своеизвольничает, не наделяет героев и природный окоем свойствами произвольными и неограниченными.

Говоря о задаче изобразительной, важно понимать, что живопись событий и обстановки у настоящего художника всегда содержит в себе ту или иную авторскую мысль. Можно не объявлять напрямую хорошими или плохими черты облика персонажей, но то, как писатель портретирует героя, распределяет мельчайшие приметы его движения по сюжету произведения, оказывается куда весомей, нежели отдельные лобовые характеристики населяющих творческий материал художественных фигур. В свою очередь, такой путь позволяет повествователю возвращаться к прежним мирансценам, подниматься над течением событий, делать лирические обобщения и выходить на совершенно новый уровень воплощения литературного и интеллектуального замысла.

В finale повести «Что скажет солнышко?» возникает картина-видение: у костра лежат уронивший себя Рыжик и его умный и честный брат Серый, суровый и отважный Таган — и Старшой, мешающий в тазу разваренную сечку со щукой. Ушли смерть и предательство, жестокость и эгоизм, осталось только самое дорогое, не подверженное разрушению. И впервые возникает негромкий голос автора, обращенный к Серому:

«Горит костер. Падает снег. И лежите: ты, Рыжий и Таган. И Старшой вечно варит вам Собачье. Ведь ты так хотел?»

Две повести Михаила Тарковского не похожи на привычные социальные и лирические произведения современной русской прозы. Формально они относятся к литературной категории «историй о животных», однако нельзя не увидеть совпадения и отличия давней традиции и ее настоящей интерпретации. Обладая даром изображать в красках и деталях происходящее, отдавая должное искренности звериной души и представляя ее во всех психологических нюансах, Тарковский поднимает свой сюжет над «жанром» и уводит его в сферу идеального.

Очевидно, что сопряжение идеала и земной суэты, как и прежде, является сверхзадачей отечественной словесности. А новый ракурс этой проблемы показывает нам, что здесь находится и центр русской жизни.

